

Содержание

I.	ВЫСТРЕЛ	7
II.	ВРЕМЯ ТРАУРА	11
III.	НОВЫЙ ДОМ	35
IV.	В ШКОЛЬНОМ КОРИДОРЕ	62
V.	ЧУВСТВО ОБЛАДАНИЯ	75
VI.	ИСТОРИЯ ЛЛОЙДА УИЛСОНА	102
VII.	НЕВИННЫЕ (В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ) СОЗДАНИЯ	118
VIII.	МАШИНА ПРАВОСУДИЯ	142
IX.	ВЫПУСКНОЙ КЛАСС	174

Гравийный карьер находился примерно в миле к востоку от города, величиной он был с небольшое озеро и до того глубокий, что мальчишкам младше шестнадцати родители купаться там запрещали. Я знал о нем только понаслышке. Поговаривали, будто у карьера нет дна, и, поскольку меня тогда увлекала мысль о том, что, если все время рыть и рыть яму, рано или поздно докопаешься до Китая, разговоры о бездонности карьера я воспринимал буквально и верил в нее, как в реальный факт.

Как-то зимним утром, еще до рассвета, трое мужчин, грузивших у карьера гравий, услышали звук, похожий на пистолетный выстрел. А может, сошлись они в догадке, это был автомобильный выхлоп. Спустя несколько секунд встало солнце. С поля, что тянулось вдоль карьера, никто так и не появился, на дороге они тоже никого не увидели. Звук, который слышали мужчины, произвела вовсе не выхлопная труба; в то утро был застрелен фермер-арендатор по имени Ллойд Уилсон, и слышали они выстрел оружия, из которого его убили.

На дознании у коронера дядя Уилсона, которому было уже под семьдесят и который последние несколько лет жил с племянником, свидетельствовал, что, пока задавал корм лошадям, видел фонарь Ллойда, когда тот направлялся к коровнику. Конюшня стояла от коровника футах в пятистах. Выстрела он не слышал, и, насколько ему было известно, на территории в то утро посторонних не было. Жили тогда на ферме Уилсон, его двое сынишек, шести и девяти лет, пожилая экономка и, собственно, дядя — Фред Уилсон.

Следующей показания давала экономка, она сообщила, что в последнее утро своей жизни Ллойд Уилсон поднялся, как обычно, в половине шестого, оделся и развел огонь в двух очагах. Дождаясь, пока разгорится огонь в кухонной плите, он стоял и развлекал экономку разговорами, шутил. Настроение у него было приподнятое, и из дома он вышел насвистывая. Обыкновенно Уилсон управлялся с дойкой и возвращался в кухню прежде, чем экономка подаст завтрак. В семь, зная, что хозяину надо ехать в город за человеком, которого он нанял на очистку кукурузы (в тот год он с этим припозднился), экономка велела младшему мальчику пойти посмотреть, отчего это отец так задерживается. Мальчик попросил фонарик, она выглянула в темноту и сказала, что в фонарике нужды нет — в открытую дверь коровника падает свет отцовской лампы. Скоро она услышала, как мальчик возвращается. И плачет. Экономка открыла внешнюю защитную дверь и окликнула его, и тогда он сказал:

— Папа мертвый! Сидит с открытыми глазами, но он мертвый.

Кто ж поверит ребенку. Отмахнувшись от него и его выдумок, экономка бросилась к коровнику. Уилсон сидел на табурете в центральном стойле, тело обмякло и привалилось к перегородке. Она схватила его за руку и закричала:

— Господи боже, Ллойд, да что это с вами? — Она решила, что ему сделалось плохо с сердцем, а может, удар хватил.

Слова мальчика подтвердились: Ллойд сидел с открытыми глазами, но был мертв. Экономка и Фред Уилсон сделали все, что полагалось, — а именно, она вернулась в дом и позвонила куда положено по телефону, а он завершил дойку и отогнал коров на пастбище, после чего уселся рядом с умершим дожидаться, пока приедут владелец похоронного бюро с помощником и увезут тело с собой в город. Труп уже успел окоченеть, так что пришлось разрезать рукав пиджака, чтобы его раздеть. Сняли куртку, пиджак, вельветовую жилетку, фланелевую рубашку и тогда только на нижней нательной рубашке увидели маленькое красное пятнышко — над самым сердцем.

В те времена — а я говорю о начале тысяча девятисот двадцатых — жители Линкольна редко запирали двери на ночь, а если и запирали, то не из страха перед реальными взломщиками, а на всякий случай. В вечерней газете порой можно было прочесть, что кого-то арестовали за нарушение общественного

порядка, но это означало — за пьянство. Не подумав как следует, я мог бы сказать, что странно ожидать разгула преступности в таком местечке, где дома стоят почти вплотную друг к другу и ни один не обнесен высокой оградой и где трудно сделать что-нибудь из ряда вон выходящее так, чтобы кто-то по случайности или из пустого любопытства хоть краем глаза этого не увидел. Однако взгляните на следующую выдержку из истории округа Логан, опубликованной в тысяча девятьсот одиннадцатом году: «Хотя в округе и было зарегистрировано около пятидесяти перестрелок со смертельным исходом... среди них найдется немного таких, чьи участники были бы всем хорошо известны или занимали бы положение в обществе». Как правило, стрельба, поножовщина или забивание дубинкой случались в хижине угольщика, темном переулке или на отдаленной ферме, но одно из преступлений, упомянутых в книжке про Логан, произошло в доме на Десятой улице, по соседству от того места, где жили мы, когда я был ребенком. Убийство Ллойда Уилсона отличалось от всех прочих одной деталью — настолько шокирующей, что линкольнский «Курьер-Геральд» несколько дней не решался о ней написать: убийца бритвой отрезал мертвецу ухо и унес его с собой. В ту дофрейдовскую эпоху люди не стали гадать, вместо какой другой части тела было отрезано ухо, — а просто содрогнулись.

II Время траура

Едва ли я хранил бы более пятидесяти лет воспоминание об убийстве фермера-арендатора, которого в глаза не видел, если бы 1) не был знаком с сыном убийцы и 2) вскоре после случившегося не совершил поступка, за который впоследствии мне будет стыдно. Эти мемуары — если их можно так назвать — движение по кругу, тщетная попытка загладить вину.

Прежде чем окунуться во все это, надо мне упомянуть еще кое-что. Когда отец мой был уже в преклонном возрасте и стал все чаще упоминать в разговорах прошлое, я однажды спросил у него, какой была моя мама. Я знал, какой матерью она мне была, но подумал, что пора бы мне услышать от кого-то, каким она была человеком. К моему удивлению, отец сказал: «Нечего прошлое ворошить», — вроде дал понять, что разговор окончен, но произнес это таким резким тоном, что я стал ломать голову: то ли у него после стольких лет не осталось к ней никаких чувств, то ли, наоборот, чувства остались, но ему это кажется неправильным. Так или иначе, со мной говорить о ней он не хотел.

Мало найдется семей, которых беда всегда обходила бы стороной, но на семью моей матери в годы между тысяча девятьсот девятым и тысяча девятьсот девятнадцатым обрушилось столько несчастий, что одной семье как будто и чересчур. Дед мой как-то заночевал в одном фермерском доме, был там укушен за ухо не то крысой, не то хорьком и три месяца спустя умер от заражения крови. Единственный брат моей матери попал в автомобильную аварию и лишился правой руки. Младшая сестра матери никак не могла разжечь камин и плеснула в него керосину — на ней вспыхнула одежда, и шрамы от ожогов остались на всю жизнь. У моего старшего брата, когда ему было пять лет, нога попала во вращающееся колесо повозки.

Во времена всех этих бед я был еще так мал, что либо ничего о них не знал, либо не испытывал по их поводу никаких чувств, потому что узнавал о них, как говорится, через третьи руки. Когда брат раздевался перед сном, он оставлял свою искусственную ногу прислоненной к стулу. Мы спали в одной комнате, и протез брата был для меня такой же привычной вещью, как его кепка и бейсбольная перчатка. Жалость к себе ему была не свойственна, и старшие всегда следили за тем, чтобы не выказывать своего огорчения по поводу случившейся с ним беды. Все мои чувства по поводу его «несчастья» были запрятаны глубоко в подсознание (если допустить, что таковое вообще существует) — там, где мне было до них не добраться.

Мой младший брат родился в первый день нового года, на пике эпидемии инфлюэнцы тысяча девятьсот восемнадцатого. Наша мама умерла два дня спустя от двусторонней пневмонии. После этого несчастья прекратились. Худшее, что могло произойти, уже произошло, и жизнь лишилась красок. Мы не верили собственным глазам, но стойко сносили венки на двери, похоронного распорядителя, который то приходил, то уходил, бесконечный поток еды, удушливый запах белых цветов и все прочее, включая первую из череды экономок, которые заботились о младенце и за столом занимали место матери. Оглядываясь назад, я понимаю, что эта женщина с землистым цветом лица и плоской грудью вытянула несчастливый билет задолго до того, как увидела нас. Она пришла из мира, о котором мы ничего не знали, и я не помню, чтобы у нее когда-нибудь были выходные. Думаю, она попыталась стать матерью мне и моему старшему брату, но броня нашего сопротивления была так крепка, что одной неловкой попытки ее пробить явно было недостаточно. Мы слишком хорошо понимали, чего лишились, и фальшивой нежностью нас было не провести.

За нами присматривали и сестры матери, и сестры отца, и наша бабушка. Если бы не они, не знаю, что стало бы с нами в этом печальном доме, где жизнь замерла в неподвижности и никогда ничего не менялось. Отца смерть моей матери практически уничтожила. Вечерами после ужина

он ходил по дому, и я ходил вместе с ним, приоб-
няв за талию. Мне было десять. Он шел от гостиной
до прихожей, потом, повернув, проходил мимо
напольных часов и шагал в библиотеку, а из биб-
лиотеки — в гостиную. Или же шел из библиотеки
в столовую, а оттуда через другую дверь — в гости-
ную и снова в прихожую. Поскольку он ничего
не говорил, я тоже молчал. Я только пытался, когда
он собирался повернуть, предугадать, в которую
комнату он сейчас направится, чтобы нам друг
в друга не врезаться. Его взгляд был сосредоточен
на чем-то за пределами всех этих комнат, и лицо
было пепельного цвета. Из разговоров, которые
велись при мне, я знал: отца терзает мысль о том,
что беда произошла по его вине. Если бы он только
позаботился о мерах предосторожности, если бы
сделал то-то и то-то... Ерунда все это, ничего бы
не помогло. Посреди бушующей эпидемии, когда
людям рекомендовали избегать скоплений народа,
отец и мать сели в переполненный поезд и отпра-
вились за тридцать миль в Блумингтон, где боль-
ницы были лучше, чем в Линкольне. Но даже
если бы мама родила ребенка дома, она бы все
равно подхватила испанку. Мой старший брат
ее бы заразил, или отец, или я. Мы все переболели.

О чем думает мой старший брат, оставалось лишь
догадываться. Сам он делиться со мной и не соби-
рался. Я заглядывал в его ореховые глаза и изум-
лялся: если бы я не знал, то решил бы, будто его
задело нечто такое, о чем заговорить не позволяет

гордость. Лучшего способа скрывать свои истинные чувства он не придумал. Перед сном мы раздевались, ложились в кровати и засыпали — а ведь могли бы воспользоваться темнотой, чтобы облегчить друг перед другом душу. Теперь я нахожу это странным. А тогда не находил. Хотя мы и были очень разными, он знал меня вдоль и поперек — то есть знал все мои слабости и умел на них играть, поэтому я опасался чересчур с ним откровенничать. К тому же я подозреваю, что слишком часто доносил на него взрослым. Понятия не имею, что бы такого мог сказать мне брат. А сам я в странство из нескольких футов, разделявшее наши кровати, не говорил вот о чем: о том, что я все ломаю голову и не могу понять, как с нами такое случилось. Уж больно это было похоже на ошибку. Ошибки положено исправлять, только в нашем случае это было невозможно. Между тем, как всё было раньше, и тем, как стало теперь, пролегла непреодолимая пропасть. Я испытывал необходимость найти произошедшему какое-то иное объяснение вместо настоящего, которое гласило: мы подвержены бедам точно так же, как и все прочие; и меня снова и снова посещала мысль (возможно, из-за хождения с отцом из комнаты в комнату), что я, наверное, ненароком прошел через такую дверь, через которую проходить не следовало, и теперь не могу вернуться в то место, которого вообще нельзя было покидать. На самом деле все было наоборот: я никуда не вышел и, в смысле крыши у нас над головами,

ничего не изменилось — просто мама теперь была на кладбище.

Приходя домой из школы, я продолжал делать то же, что и всегда, — читал, свернувшись клубочком на подоконнике или в библиотеке или лежа на спине на полу и закинув ноги на стул, в самом темном углу, какой только мог отыскать. В доме было полно укромных мест для чтения, и я по несколько раз перечитывал одни и те же книги. Детям свойственно добывать утешение и поддержку в хорошо знакомых вещах: в подставке для зонтов, в стеклянной пепельнице, обклеенной яркими сигарными обертками, в каминных щипцах, в чем угодно. Лишь с помощью этих и других привычных предметов — двух высоких вязов, укрывавших дом от солнечного жара, цветущих раструбов лианы-камписиса у черного хода, белого куста сирени за окном в столовой, удобной плетеной мебели на веранде и качелей, прибавлявших свой *скрип... скрип...* к прочим звукам летней ночи, — я перебирался из одного дня в следующий.

Отец из одного дня в следующий перебирался благодаря тому, что добросовестно выполнял свою работу. Он был региональным агентом в небольшой компании, страхующей от пожаров, разъезжал по всему Иллинойсу с инспекциями и заводил дружбу с местными агентами, чтобы те обеспечивали его компанию клиентами. По субботам он с утра сидел в библиотеке и помечал галочкой каждый внимательно просмотренный акт, и, когда

таких актов набиралась стопка, передавал их мне, я садился на пол и раскладывал листы вокруг себя в алфавитном порядке, по городам, исполненный гордости, что могу быть ему полезен. Он уезжал утром во вторник с тяжелым саквояжем, набитым отпечатанными бланками, а возвращался днем в пятницу — в дом, переполненный хозяйственными проблемами, которые он не привык решать. Печаль его была особого сорта — стойкая и безнадежная. Он продолжал спать в постели, которую они делили с мамой, и старался все делать так, как хотелось бы ей, — и я подозреваю, что с течением времени он все хуже представлял себе, как ей хотелось. Он раздал ее украшения и, что было особенно важно для меня, ее одежду, так что я больше не мог открывать шкаф и смотреть на ее вещи.

Я слышал, как друзья семьи один за другим уверяли его, что от боли есть лишь одно средство — время, и, хотя он отвечал: «Да, знаю», я видел, что он им не верит. Раз в неделю он заводил все часы в доме, начиная с напольных в прихожей. Их минутная и часовая стрелка исправно двигались по кругу, и свет за окном подтверждал их показания: время завтрака, день клонится к вечеру, наступает ночь, тьма наваливается на оконные рамы. Это правда — то, что говорят друзья семьи. Правда для кого-то. А для кого-то стрелки часов могут вращаться хоть до второго пришествия, да так ничего и не исправят. Я не знаю, каких усилий стоило отцу примириться со своим горем. Знаю только, что прошло больше года, прежде чем лицо его

снова приобрело цвет и он смог улыбаться в ответ на чью-нибудь шутку.

Когда люди говорили о моей матери, это все были какие-то неопределенные вещи — ее прекрасные качества, ее особый дар делать окружающих счастливыми и так далее, — и я не узнавал из этого ничего такого, чего не знал и без них. Похоже, отчетливо ее увидеть им мешало то, что с ней произошло. С ней — и с нами. Она не любила фотографироваться, и у нас было только несколько любительских снимков и одна парадная фотография, сделанная, когда маме было немного за двадцать: волосы уложены в пышную высокую прическу, на шее — черная бархатная ленточка. Когда она умерла, ей было всего тридцать восемь, но она успела отяжелеть, как было свойственно женщинам в те времена. Губы и мягкие карие глаза не вызывали у меня вопросов. Но всего прочего я не узнавал, как бы отчаянно ни хотелось мне поверить в то, что когда-то моя мама выглядела именно так. Отца эта фотография тоже не устраивала, и он отдал ее художнику, чтобы тот отретушировал снимок и сделал девушку на нем более взрослой. Я был уверен, что такой, как на отретушированной фотографии, мама не выглядела никогда: немного отсутствующей и неестественной женщиной, которая едва ли вспомнила бы, кто мы вообще такие. Моя мама умела иногда вспылить и выйти из себя — на такое вряд ли была способна эта женщина, которая умерла прежде времени, оставив убитого горем

мужа и троих осиротевших детей. Отретушированная фотография встала между мною и лицом, которое я помнил, и мне становилось все труднее и труднее вспоминать маму такой, какой она была в действительности. Когда я окончательно забыл все, кроме самого общего представления о ее внешности, у меня в памяти оставался звук ее голоса — и я цеплялся за это воспоминание. А еще я цеплялся за мысль о том, что если все будет оставаться точь-в-точь как есть и если мы постараемся ни на шаг не сдвигаться с того места, где сейчас находимся, то нам удастся как-нибудь вернуться к тому, каким все было до ее смерти. Я понимал, что в этих моих рассуждениях нет логики, но альтернатива — то, что, умирая, люди в самом деле уходят навсегда и я больше никогда ее не увижу, — была выше моего понимания и тогда, и еще долгое время после.

Однажды, уже будучи стариком, отец удивил меня, сказав, что понимал, как тяжело я переживал мамину смерть, но не имел ни малейшего представления, что с этим делать. Думаю, было бы достаточно даже просто сказать мне тогда об этом. Но он ничего не сказал — возможно, потому что считал, будто никто не в силах мне помочь — ни он, ни кто-либо другой. А может, он тогда решил, что я откажусь от помощи, если он мне ее предложит. Когда я был маленьким, иногда у меня болело ухо, и тогда я шел к нему и просил подуть мне в ухо дымом от сигары. Он прерывал разговор, притягивал меня к себе, почти касался

губами уха и выдыхал в него свое теплое дыхание. Лекарство — не хуже других, к тому же в нем была задействована физическая близость. Как-то вечером — не знаю, сколько мне тогда было, пять или, может, шесть, — пришло время ложиться спать, я, как обычно, поцеловал перед сном маму, а потом подошел к отцу, и, когда потянулся к нему, он сказал, что я для этого уже слишком большой. По меркам того времени и тех мест, наверное, так оно и было, но мне все равно хотелось его поцеловать. И как же мне было теперь выражать свои чувства к нему? Он мне не объяснил — ни тогда, ни позже. С этого мгновения мои чувства к нему изменились, я стал сдержан и насторожен.

По всей Девятой улице жили дети, с которыми я мог бы играть, иногда так оно и было, но все же предпочитал я играть сам с собой. В погожий весенний денек я оставался дома и читал «Тик-Ток из страны Оз». А когда читать надоедало, закрывался в комнате с задернутыми шторами и возился с проектором для открыток или игрушечным театром, который смастерил из тех картонок, что вкладывают в новые рубашки. Все это беспокоило отца — и с той точки зрения, что я мало бываю на свежем воздухе, и из-за того, что, если я продолжу интересоваться такими вещами, чем, скажите на милость, я стану зарабатывать на жизнь, когда вырасту? В том, что он так думал, не было ничего смешного или странного. Мы — то, что мы есть, а он был бизнесменом, и, по его мнению, лучшего жизненного пути нельзя было и придумать.

Время от времени его тяжелая рука опускалась на какую-нибудь особенно затейливую мою фантазию, и мне оставалось лишь собирать обломки и уходить куда-то, где его нет, чтобы на душе снова стало светло. Если в разговоре со мной он выражал нетерпение или мне казалось, что я чувствую в его голосе резкость, мне не удавалось сдержать слезы, и это лишь еще больше его раздражало. Когда он отворачивался, я чувствовал, что окончательно его разочаровал. Наверное, я оказался не тем сыном, который был ему нужен? Этого он тоже не говорил. Даже взрослым бывает непросто сохранять эмоции в некоем подобии равновесия. Ну а дети — они просто чувствуют то, что чувствуют, и я понимал, что отец не больно-то меня любит.

Мы оба были людьми своей эпохи. Думаю, синдрома сурового отца-бизнесмена и сверхчувствительного сына-художника давно не существует. Отцы научились сопереживать и целуют своих подросших сыновей, когда им того хочется, да и о какой «сверхчувствительности» может идти речь, если приходится чувствовать столько всего одновременно?

Когда с настенного календаря было сорвано достаточное число месяцев, мамыны подруги сочли, что настало время приглашать отца на званые ужины, и начали это делать. Он одевался в лучшее и ехал. Конечно, они пытались его с кем-то свести, и, как всегда бывает у сводниц, ими двигали противоречивые мотивы. Не думаю, что отец нуждался в их

помощи. Ему едва перевалило за сорок, он всегда был хорош собой, любил женщин, и было бы странно, если бы он не нашел ту, что захотела бы его полюбить. Я не имел ни малейшего представления о сексуальных и эмоциональных потребностях мужчины его возраста. Для меня он был просто моим отцом, и я полагал, что он будет «верен памяти моей матери» — я слышал, что взрослые выражали эту мысль так.

Пока отец вел свою светскую жизнь, я вел свою. Наш класс решил устроить вечеринку в честь Хэллоуина, и возник вопрос, где ее устраивать. Я предложил пригласить всех к себе, и мое предложение было принято. Когда я рассказал об этом отцу, он с сомнением покачал головой и спросил, что именно я планирую делать. Я сказал, что вырежу тыкву и расставлю по гостиной кукурузные стебли. Идея с вечеринкой ему совсем не понравилась, экономке лишний труд, и в следующий раз лучше бы мне спрашивать, прежде чем ввязываться в нечто подобное. Поскольку я уже пообещал, отец дал мне разрешение — но при условии, что праздник не будет выходить за пределы пустующей комнаты прислуги и что гости станут пользоваться черной лестницей. Мама рядом не было, а то бы она сказала ему, что это совершенно недопустимо, — и мне пришлось его послушать. В страшном смущении я вел учительницу и одноклассников по ярко освещенным комнатам, которые прежде всегда были так гостеприимны, через столовую в кладовку и оттуда — вверх по узкой

и неприветливой черной лестнице. Никого это как будто и не удивило. Кажется, вечеринка в честь Хэллоуина получилась не очень. А вот что мне запомнилось на всю жизнь, так это сцена, которая произошла у бельевой корзины в коридоре черного хода. Учительницу назначили «жертвой», усадили на стул и с ее позволения завязали ей глаза. Тут я вдруг засомневался, насколько все это прилично. Я кивнул одной из девочек, и она встала на мое место. Снимая с глаз повязку, учительница улыбалась от удовольствия, потому что ее поцеловал юноша — точнее, потому что она думала, что ее поцеловал юноша.

Сообщая мне о своем намерении жениться, отец сделал это настолько ласково, насколько это было ему по силам. Возражений от меня он не ожидал, и, если бы таковые возникли, это не заставило бы его отказаться от своих планов.

За год или два до этого летним днем в загородном клубе я бесцельно прогуливался рядом с домиком кэджи и набрел на нечто такое, чего был не в состоянии понять. Сначала я решил, что это какой-то новый вид животного. А потом в ужасе отступил. Увиденное мною оказалось змеей, которая заглатывала чересчур большую лягушку — та никак в нее не помещалась. Точно так же теперь не помещалась у меня в голове мысль о том, что другая женщина займет отныне место моей мамы не только за обеденным столом, но и в отцовском сердце.

Мальчик поотважнее сбежал бы из дома или ввязался в неприятности с полицией, я же сидел, уткнувшись носом в книжку, чтобы не думать о вещах, которые мне не нравились и которых я не мог предотвратить. Когда придет время, недостаточно будет мне одному или вместе с братьями — старшим и младшим — проскользнуть в дверь, ведущую к прежнему устройству нашей жизни; мама ведь станет ждать, что мы и отца с собой приведем. А если он будет женат на другой, как же мы это сделаем?

Мы сдвинулись с нашего зафиксированного положения, и отныне больше не было возможности вернуться к тому, как все было устроено до ее смерти. И я не смог бы точно сказать, тяжесть у меня в груди связана с тем, что еще только может произойти, или с тем, что уже произошло и чего нельзя исправить.

Детский сад, которым заправляли мисс Лена Мус и мисс Люси Шеффилд, находился на третьем этаже здания неподалеку от главной площади, и молодая женщина, которая стала мне мачехой, в девять утра ходила от дома к дому, собирая детей. Когда все были в сборе, она вела нас в центр города. Наверное, в то время ей было едва за двадцать. В детстве она жила на Девятой улице, но теперь — нет. В день маминых похорон, в двенадцать часов, когда мы вошли в столовую, она уже была там. Я сел за стол, но есть не мог. Горло сдавило от слез. Она подошла, встала у меня за стулом и говорила со мной — упрашивала съесть

немного печеной картошки, которая лежала у меня на тарелке. Я сумел это сделать ради нее, потому что она была молодая и хорошенькая и потому что она всегда мне нравилась. Вкус этой печеной картошки до сих пор со мной.

В сказках появление мачехи всегда представляется исключительным несчастьем. Вероятнее всего, дело тут не в том, что множество новых жен ведут себя жестоко по отношению к детям мужей от первого брака, хотя существуют и такие примеры, — дело в том, что все дети на свете испытывают неприязнь к чужакам. Таким образом, женись заново, отец совершает предательство не только по отношению к их умершей матери, но и по отношению к ним самим, какой бы ни была мачеха.

До чего же странные и непредсказуемые вещи выбрасывает на берег времени. У меня хранится потрепанный фотоальбом, полный любительских снимков мачехи в дни ее юности. Она была хорошенькая и милая, с меховой муфточкой и в большой нарядной шляпе, и юбки ее доставали почти до пола. В альбоме имеются ее фотографии с подругами, с матерью и сестрой, с одним или несколькими из четырех братьев, с престарелыми родственниками на веранде дома в колониальном стиле, полагаю, в Бостоне. Есть и два групповых снимка, сделанных местным фотографом во время праздника-маскарада: один — в масках, другой — без, чтобы узнать, кто был пиратом, кто клоуном, кто Коломбиной и так далее.

Половину этих людей я знал в детстве. И еще фотографии мачехи: в Вашингтоне, округ Колумбия, во время Первой мировой войны, с тонколицым мужчиной в военной форме, которого она тогда любила, но за которого так и не вышла замуж; опять в Линкольне, с младенцем сестры на руках, и так далее. До чего красивые наряды. До чего восхитительные автомобили. До чего хорошие времена.

В начале и в конце альбома, по всей видимости вклеенные на свободные места, поскольку они нарушают временную последовательность, хранится дюжина снимков моего отца. За исключением одной фотографии, где он стоит, а рядом на камне разложен его улов, все это — групповые снимки. Вот у него в руке золотая трость. Вот он курит трубку. Вот одет в купальный костюм и одной рукой приобнимает за талию мою мачеху, а другой — еще какую-то женщину, которой я не узнаю. И, глядя на эти потускневшие снимки, я с болью в сердце понимаю — понимает ребенок, который по-прежнему жив во мне: сейчас мне столько лет, что я гожусь этому мужчине в отцы, и мужчины этого нет на свете уже почти двадцать лет, и все же меня до сих пор задевает, что он был счастлив. Почему? Каким-то образом его счастье тогда (и, похоже, не только тогда, но и всю жизнь) представляло для меня угрозу. Это было не то счастье, в которое берут с собой детей, но теперь-то почему меня это огорчает? Сколько ни стараюсь, понять не могу.

Если б я ухитрился как-то эдак щелкнуть пальцами, чтобы фокус удался и маму все же получилось вернуть с кладбища, и если б мы продолжили жить как прежде, то мы бы очутились на острове посреди реки перемен, ведь шел тысяча девятьсот двадцать первый год, и женщины уже начали отрезать волосы, носить юбки выше колен и прилюдно пить джин из серебряных фляжек. Порой какая-нибудь из них выпивала лишнего, и приходилось везти ее домой. Поводов для разговоров и осуждения хватало. В сравнении с тем, что началось потом, двадцатые годы представляются теперь эпохой очаровательной и беззаботной. Но в отношении хороших манер это было начало конца. Моя мать, отправляясь с отцом кататься на лошадях воскресным утром, верхом ездила только в дамском седле, боком (вы только подумайте!), для этого она выходила из дома и спускалась по ступенькам парадного крыльца в юбке-брюках, которые мели цементную дорожку. Я иногда пытаюсь представить себе маму с короткой стрижкой и в юбке выше колен — и всякий раз терплю неудачу.

Можно было продолжать, как мой отец, жить в убеждении, что настоящее во всех отношениях превосходит прошлое и что будущее непременно будет еще лучше. Отец к тому же верил в необходимость идти в ногу со временем. Когда был принят Сухой закон, отец объявил, что готов его придерживаться и бросить пить — под выпивкой он имел в виду стакан пива или порцию бурбона

в мужской компании. Когда оказалось, что остальные следовать закону не планируют, он стал производить собственный джин и, как и все его друзья, покупать паленый виски у самогонщика по имени Кунхаунд Джонни.

Однажды мой отец нарушил правила приличия. По пятницам после уроков я ходил в танц-класс и неуклюже толкался с девочками в уанстепе, фокстроте и вальсе. Они держались от меня на расстоянии вытянутой руки, у каждой спина — прямая, будто внутри шомпол, и вид такой — не подступись. Учительница танцев была молодая и энергичная, не выше пяти футов, так что, даже несмотря на ее очень высокие каблуки, я был с ней одного роста. По четвергам проходили занятия для взрослых, и мои отец и мачеха ходили туда, пока не поженились. Как-то раз они прижались друг к другу щеками и стали исполнять новый танец, который разучивали потихоньку сами по себе. Назывался танец «тоддл», и все остановились и стали на них смотреть, а учительница страшно покраснела и попросила пару покинуть зал.

Это было очень в духе отца: хотя он рассердился на нее и сам больше никогда не ходил на ее уроки, меня из детской группы он забирать не стал. В пятницу учительница попросила меня задержаться после того, как остальные мальчики и девочки уже ушли. Она была взволнована, но так и не смогла мне объяснить, в чем дело. Может, она чувствовала, что я наполовину на ее стороне, а все остальные, почти без исключения, — нет? Она

поступила правильно и даже ни на секунду не задумалась над тем, что эти двое — люди из почтенных семейств, а она — соломенная вдова, вынужденная растить двоих маленьких детей и к тому же не местная. В общем-то, она могла даже и не знать, кто тут к какой семье принадлежит. Я пожалел ее — как всегда жалел тех, кто плачет. И предал собственного отца: стоял там и слушал все, что она о нем говорила. И испытывал чувство неловкости оттого, что вокруг него разыгрался скандал.

Одним из лучших отцовских качеств мама считала его прирожденные способности к музыке. В надежде, что его талант мог передаваться по наследству, она договорилась с монахиней, преподававшей музыку в католической школе, об уроках фортепиано для моего старшего брата. Когда мне исполнилось шесть, я тоже отправился вместе с ним в дом, где жили монахини, — на свой первый урок музыки. Сестра Мэри Анис показала мне, как ставить руки на клавиатуру, но тут я взглянул на ее зубы — кривые, как у ведьмы, — и разрыдался. Она велела брату привести меня снова, когда мне исполнится семь, — к тому времени она обзавелась искусственными зубами, они кривыми не были, и я мог смотреть на нее спокойно. Способностей к музыке у меня не обнаружилось, и заниматься я не любил. А вот что мне нравилось, так это биографии композиторов, которые мне выдавали по одной за урок в виде разрозненных страниц напечатанного материала, которые

полагалось сгибать и прошивать по линии сгиба, и еще я получил перфорированный лист с иллюстрациями, чтобы клеивать в нужные места биографий. В первой из таких книжек я прочел о том, как злой старший брат Иоганна Себастьяна Баха завидовал его таланту и не подпускал к нотам, по которым тому хотелось играть, поэтому Бах вставал по ночам и переписывал ноты при свете луны, что было губительно для его зрения. Я привязался к затюканному Иоганну Себастьяну Баху, а после него — к Генделю и его «Музыке на воде», а также к Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту, Шуману, Мендельсону, операм Вагнера и вообще ко всей классической музыке. Играть я от этого лучше не стал. «Да нет же! — кричала из соседней комнаты мама, когда я занимался дома. — Ми бемоль, а не просто ми!» Тогда я вставал с крутящегося табурета и шел взглянуть на часы в прихожей.

На пианино в гостиной стоял маленький патефон, после ужина отец по два или три раза прослушивал новую пластинку, чтобы разобраться, какие там аккорды, и все — уже мог играть. Он исполнял регтаймы и песни из мюзиклов той эпохи. У него была прекрасная манера игры, люди обожали его слушать. Как-то он сел рядом со мной за инструмент и попытался научить играть на слух. Я не понял ни слова из того, что он говорил.

Ему не доставляло удовольствия слушать, с какими мучениями я пробираюсь сквозь «Молитву пастушка», к тому же он хотел, чтобы я полюбил ту музыку, которая нравилась ему, поэтому, когда